

Ежеквартальный журнал Japan Echo, выходящий в Токио на английском языке и ставящий своей целью «давать в каждом номере полные или частичные переводы значительных статей известных комментаторов, написанных для японской аудитории и опубликованных в ведущих журналах, выходящих на японском языке» (с. 1), посвятил специальный выпуск не совсем обычной для журнала теме — японскому языку, его основам, корням, современному состоянию и условиям функционирования в обществе, наконец, перспективам его развития. Фактически этот номер журнала представляет собой сборник статей ведущих японских лингвистов, историков и экономистов, обращающихся к широкой иноязычной аудитории.

Успех подобного начинания во многом, если не в решающей степени, зависит от искусства составителя и редактора, которому нужно из отдельных статей собрать мозаичную, но яркую картину явления. В данном случае это удалось. В столкновении противоречивых оценок, личных пристрастий и антипатий, собственного опыта и ссылок на предшественников, сопоставлениях результатов статистических исследований и отдельных слов, вырванных из широкого потока языковой практики, встает объемная картина развития живого, цельного в своей противоречивости японского языка, впитавшего в себя все достижения культуры японского народа и выстоявшего в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях.

Общее представление о современном состоянии японского языка дает первая статья сборника «Некоторые характерные черты японского языка», написанная проф. Х. Киндайити. Она достаточно традиционна по духу и указывает прежде всего на особенности, отличающие японский от других языков: компактность ареала его распространения (вплоть до недавнего времени по-японски говорили только японцы и только в Японии; нигде, кроме Японии, он не используется в качестве официального языка); существование единого национального языка при широком распространении региональных диалектов и профессиональных жаргонов; заметные лексические и грамматические различия в речи мужчин и женщин; наличие широкого спектра вежливых форм и ситуационных клише. В этом списке не хватает самого главного — упоминания о сложной системе письменности, в которой, кроме заимствованных из Китая иероглифов, используются две слоговые азбуки — хирагана, которой записываются изменяемые части слов, а иногда и целые слова, и катакана, применяемая сейчас в основном для записей

заимствований из европейских языков. Впрочем, эта особенность японской письменности хорошо известна; в рецензируемом сборнике ей посвящена значительная часть предисловия, написанного С. Миурой. Кроме того, в предисловии затрагиваются и другие вопросы, которые могут представить интерес для неподготовленного читателя: эволюция японского языка вместе с обществом, роль языка в повседневной жизни японского человека, языковое образование и т. п. Манера изложения у С. Миуры также достаточно традиционна.

А вот следующий материал — диалог этнографа М. Маубары и писателя Р. Сибы о происхождении японского языка — сразу бросает читателя в гущу лингвистических дискуссий; вопрос о корнях и предшественниках японского языка столь же естественный, сколь и трудный. Сам диалог идет в очень типичном для японцев стиле «нмаваси» (букв., «окучивание, окапывание корней»), когда аргументы собеседников не сталкиваются, а дополняют друг друга, охватывая все более широкий круг понятий, что позволяет детально осветить все грани проблемы, не разрушая ее тонкую структуру грубым аналитическим вмешательством. Однако не являясь специалистами-языковедами, участники диалога, естественно, не могут глубоко проникнуть в эту исключительно сложную проблему, ограничиваясь интересными, но непрофессиональными замечаниями. От весьма вольных сопоставлений звучаний слов «рис» и «бамбук» в японском языке и южнокитайских диалектах собеседники переходят к изложению результатов несколько более серьезных исследований, намечают связи японского языка с малайско-полинезийскими и алтайскими языками.

Казалось бы, при анализе степени родства японского с другими языками естественно обратиться к плодам весьма развитой ветви языкознания, каковой является компаративистика. Однако участники диалога то ли вообще не знают о ее существовании, то ли сознательно избегают обращения к строгим научным результатам, ограничиваясь популярными версиями, к тому же слабо подкрепленными фактическим материалом. Конечно, возможности компаративистики применительно к японскому сильно ограничены определенной уникальностью этого языка, но полностью пренебрегать ею по меньшей мере нелогично. Остается полагать, что сделано это сознательно, чтобы не терять принятого в сборнике типично популярного стиля изложения.

В последнем убеждает и то обстоятельство, что участники дискуссии часто

обращаются и к другим вопросам, на первый взгляд, далекий от чисто лингвистических проблем. В частности, им интересно, почему в Японии отсутствует традиция акынского, импровизационного пения, столь распространенная в других странах Восточной Азии. Связано ли это с отсутствием глубокого внутреннего ритма в японском языке? Собеседники считают, что это именно так и что это как раз и отличает японский язык от тех языков, с которыми его пытаются связать: и от австронезийских, и от монгольских, и от корейского.

Естественно, завершается диалог М. Мацубары и Р. Сибы меланхоличным резюме: «...практически каждый исследователь, стремившийся установить связь между японским языком и конкретным семейством языков, сталкивался с сильной оппозицией» (с. 14) других лингвистов. Вопрос о корнях японского языка остается открытым, и языковедам предстоит еще большая работа для установления окончательной истины.

Интересный материал для размышлений дает статья проф. Т. Исивата «Заимствования в исторической перспективе». Заимствованиям посвящено большое число работ японских и зарубежных исследователей. Вместе с постоянными жалобами на засилье иностранных слов в среде лингвистов звучат и трезвые оценки необходимости и правомерности заимствований. Они СИЛЬНО освежают лексику языка, привлекая внимание слушателей и читателей необычностью облика, и потому часто используются в текстах рекламно-информационного характера; применение заимствований снижает число омофонов и делает речь более понятной на слух. Скажем, японское слово *сирису* означает, в зависимости от используемых для написания иероглифов, и «частный», и «муниципальный», и в первом значении иногда заменяется заимствованием *пайбэтто* — от англ. *private* «частный». Многие заимствования пришли в язык из интернациональной научно-технической лексики, например, *эндзиниарингу* (от англ. *engineering* «техника, машиностроение»), *рэ:дза:* (от англ. *laser* «лазер»).

Казалось бы, наплывы прямых заимствований всегда должны совпадать с периодами наибольшей «открытости» страны и активизации ее связей с внешним миром. Однако если сравнить два таких периода — «открытие» Японии в середине XIX в. после двухсотлетней самозащиты и период после 1945 г., когда послевоенная Япония активно искала свое место в современном мире, — то половодьем фонетических заимствований сопровождался лишь последний период. Почему? Почему в самый, может быть, критический момент японской истории, в 1860—1870-х

годах, когда выявилось колоссальное отставание Японии от западных стран, когда вооруженные самурайскими мечами и кремневыми ружьями японцы встречали броненосцы западных держав, когда Япония бросилась учиться у Запада, перенимая там манеры, одежду, образ жизни, научно-технические достижения, когда, казалось бы, вместе с ними должна была исключительно быстро впитываться западная лексика и терминология, японский язык не пошел по пути фонетических заимствований, столь типичному для нашего времени? Почему развитие языка пошло другим, гораздо более медленным и неэффективным путем — из большого запаса функционировавших в письменном языке китайских иероглифов составлялись новые, отсутствующие в китайском языке слова, которыми и стремились передать заимствованные с Запада понятия?

Проф. Исивата связывает ответ на этот вопрос с традициями Токугавской Японии, из которой вышли реформаторы эпохи Мэйдзи (1868—1912 гг.): «В Японии эпохи Мэйдзи западная культура воспринималась в основном через печатное слово, главным образом, через переводы на японский западных сочинений. Интеллектуалы эпохи Мэйдзи были хорошо знакомы с китайской классикой и обладали обширными познаниями в китайской иероглифике. Они нашли применение своим знаниям, создавая сотни новых слов, необходимых для перевода иностранной литературы, и таким образом способствовали развитию культуры Мэйдзи» (с. 18).

Думается, дело не только в приверженности деятелей эпохи Мэйдзи к китайской классике. Глубокие воздействия отличной от японской культурной традиции потребовали для подготовки адекватного культурного отклика обращения к самым основам японского языка, привлечения его золотого фонда, который, несомненно, составляет иероглифика. Это не только система символов, способная в краткой графической форме передать самые сложные, самые отвлеченные понятия, но и культурологическая система, аккумулировавшая весь опыт, образ мыслей и традиции восприятия мира японскими людьми. Глубокое воздействие обусловило и глубокий лингвистический отклик.

Послевоенный наплыв заимствований выглядит с этой точки зрения несколько по-иному. Прежде всего он совпал по времени с активным выходом Японии на внешние рынки, который осуществлялся путем заимствования научно-технических и других достижений на уровне патентов и ноу-хау, т. е. на более «поверхностных» уровнях, не требующих глубоких изменений структуры мышления. На более восприимчивых к заимствованиям отрасли знания, такие, как спорт, мода,

легкая музыка и др., — испытали сильное влияние массовой культуры, отличительной чертой которой служит порой принудительный ассортимент понятий «общества потребления», постоянно, сменяющих ДРУГ друга. В таких условиях фонетические заимствования часто не успевали прижиться в языке и смыслились новыми терминами, набегавшими вместе с новыми понятиями. Дополнительную поддержку фонетическим заимствованиям оказала общая интернационализация и диверсификация международной общественно-политической и научно-технической лексики. Наконец, как уже говорилось, нельзя сбрасывать со счетов и широчайшее распространение в послевоенные годы информации и рекламы, которые для привлечения внимания зрителя и слушателя должны обладать некоей «пикантностью» или «неожиданностью». Для таких целей идеально подходят заимствования, отличающиеся своим необычным фонетическим и зрительным обликом и потому «выступающие» из общего информационного потока.

К слову сказать, в зрительном плане эти возможности заимствований были относительно быстро исчерпаны. В настоящее время для привлечения внимания в текстах такого рода используются и латиница, и некие абстрактные геометрические фигуры, и транскрипционные значки, и — снова! — немалое количество иероглифов, малоупотребительных прежде, что лишний раз свидетельствует об их непреходящем значении в письменном языке. В самое последнее время иероглифическая база языка еще более расширилась в связи с появлением словопроцессоров, о которых пойдет речь ниже.

Короткая статья Ё. Инагаки посвящена социологическим опросам, призванным определить самые популярные слова японского языка. Так, исследования, проведенные в конце 70-х годов, выявили безусловное первенство слова *doréku* (усилия), что, по мнению автора, хорошо отражает стремление японцев к общим усилиям ради достижения желаемого результата. Среди отдельных иероглифов первенствовали знаки *ai* (любовь), *makoto* (искренность) и *yomé* (мечта) — главным образом, благодаря изысканному виду этих иероглифов.

Естественно, результаты таких опросов мало кто принимает всерьез; скорее, это свидетельствует о широте тематики лингвистических исследований и используемых в них подходов. Такое положение дел, по-видимому, традиционно для японской лингвистики. Об этом говорит хотя бы статья «Революционеры в лингвистике современной Японии», написанная Т. Коидзуми.

Здесь мы встречаемся с разоблачением

еще одного распространенного мифа — мифа об отсутствии ярких индивидуальностей в истории японской науки и японской истории вообще. «Японский монолит» скрывает отдельных людей, до сих пор нам мало что известно о личностях творивших эту историю.

Аринори Мори — яркая личность яркого периода японской истории — первых лет периода Мэнзи — один из героев очерка Т. Коидзуми. Происходивший из знатного самурайского рода Сацума, А. Мори начал свою сознательную жизнь поступком неслыханным — в 17-летнем возрасте, в 1865 г., в нарушение всех законов, запрещавших японцам покидать страну, он с большой свитой выехал в Англию, где изучал европейскую историю, физику, химию, математику, принял христианство. В 1875 г. вернувшийся в Японию Мори — жених на первой в Японии свадьбе по европейскому образцу: с белой вуалью у невесты, с брачным контрактом и без синтоистского священника. Стремительная жизнь и карьера Мори — посол в Китае, посол в Англии, министр просвещения в первом японском кабинете министров, основатель всей системы народного образования — столь же резко оборвалась: 11 февраля 1889 г., в день, когда была принята первая японская конституция, Мори был убит в своем доме неким Бунтаро Нисино, фанатичным приверженцем «пути богов», за якобы недостойное почтение к осященным веками церемониям при посещении главного синтоистского святилища в Исэ.

Собственно лингвистические взгляды Мори отличались крайним экстремизмом: видя почти безнадежное отставание Японии от стран Запада, он считал единственным путем спасения страны полный отказ от японских традиций и языка и замену последнего на английский.

Утопичность подобных взглядов несомненна, их легко не только критиковать, но и высмеивать, что с тех пор неоднократно и делалось. Конечно «добровольный отказ от родного языка был бы равен усилен культурному самоубийству народа. Но взгляды Мори слишком экстравагантны, чтобы не попытаться понять причины их возникновения. Сейчас с большим трудом можно представить себе ту пропасть, которая отделяла Японию от остального мира во времена Мори. Почувствовать глубину этой пропасти можно уже на том простом факте, что трактат самого Мори «Религиозная свобода в Японии», написанный на ломаном английском языке в 1872 г., на японском в это время написан быть не мог в принципе: соответствующие термины в японском языке почти начисто отсутствовали, скажем, слово *сякай* (общество) было

«изобретено» Гэнъитиро Фукути только в 1875 г. Пессимистический прогноз Мори относительно развития японского языка, к счастью, не оправдался; язык выстоял и вышел на новый виток своего развития.

На следующей фазе языкового существования крайние точки зрения уже не имели той новизны, что воззрения Мори, и рассматривались уже как чистые курьезы. К ним можно отнести предложение известного писателя Наоя Сита о замене японского языка на французский, высказанное, правда, также на изломе новой японской истории в 1946 г., или немногочисленные попытки популяризации латиницы, не находившие массового отклика.

К статьям «реформаторского» цикла в рецензируемом сборнике примыкают заметки С. Маруя под характерным названием «Глупость языковой реформы». Аргументы Маруя против реформы японской письменности аналогичны уже изложенным: в стране, где традиционно почитается письменное слово, где иероглифами оклеен каждый клочок свободной поверхности стен в торговых кварталах, в стране, где иероглифы на ширмах, вазах, раздвижных дверях, где каллиграфия — древнейшее и самобытное искусство, всякая реформа, переводящая язык на европейские лингвистические рельсы, обречена на провал. «Есть ли на свете страна настолько идиотская, чтобы реформировать свой язык для удобства иностранцев?» — спрашивает автор (с. 34). Вопрос, конечно, риторический.

Как известно, в послевоенные годы в лингвистических кругах Японии получили широкое распространение идеи школы языкового существования (япон. *гэн-го сэикацу*); японскими учеными был сделан существенный вклад в развитие этих идей. В работе М. Ямадаки традиционный круг вопросов, анализируемый адептами этой школы, освещается под новым углом зрения. Фактически заметки Ямадаки — это своего рода лингвистические мемуары, записки о языковом существовании одного человека — их автора, которые тем не менее весьма интересны и типичны как свидетельства изменений, происшедших в языковой ситуации за время жизни людей одного поколения (Ямадаки родился в 1934 г.). Детство автора, прошедшее в оккупированной японцами Маньчжурии, оставило след знакомства со многими языками и восприятие своего родного языка через его письменный компонент, вернее, через тексты школьных хрестоматий. В результате даже после возвращения в Японию автор, довольно быстро овладев диалектами Киото и префектуры Кумамото, для ему довелось жить, — по-прежнему мыслить категориями письменного языка.

Закрепили эту ситуацию и занятия китайским, которые сводились в основном к декламации отрывков из произведений классиков, и изучение английского, которое в послевоенной ЯПОНИИ было ограничено чтением книг. В результате такого процесса обучения, который, по словам автора, был весьма типичен для людей его поколения, сложилась языковая практика, при которой человек делает «упор на том, что сказано, не задумываясь о том, как сказано» (с. 36).

В такой ситуации послевоенная реформа образования, ориентированная на примат устной речи и упрощение иероглифики, сослужила, как считает Ямадаки, плохую службу. Основные ценности и выразительные средства языка, лежавшие в его письменном компоненте, оказались отодвинутыми на задний план, и произошло общее падение языкового уровня, сопровождавшееся наплывом разговорных форм, неясностями и неточностями, характерными для устной речи. В свою очередь, устная речь, став главным компонентом языка, испытывала непосильную нагрузку, в результате чего перестала играть присущую ей роль и также сильно упростилась. Этому способствовало и развитие средств массовой информации — дополнительный импульс в сторону унификации языка. Свои языковые воспоминания Ямадаки завершает на печальной ноте: «На сцене и в обыденной жизни мы бесечно относимся к нашей речи, ошибочно полагая, что нужные слова придут к нам сами собой, как по волшебству... В результате нашу устную речь нельзя записать, а письменный текст невозможно прочитать вслух» (с. 42).

Ситуация, конечно, не столь трагична, хотя, несомненно, процесс развития японского языка сталкивается с определенными трудностями. Кроме отмеченных Ямадаки, можно выделить широкий спектр новых проблем, связанных с внедрением в повседневную жизнь японцев все новых и новых средств передачи и обработки информации, непосредственно затрагивающем и языковую сферу. К таким средствам относятся и так называемые словопроцессоры — своего рода симбиозы пишущих машинок и персональных компьютеров. Они обладают огромными возможностями для хранения, редактирования, корректирования и печатания текстов. Для Японии появление словопроцессоров оказалось сущей находкой — они мгновенно вытеснили громоздкие пишущие машинки: ведь весь многотысячный набор иероглифов теперь может храниться в памяти компьютера, а человек, работающий за словопроцессором, может набирать текст японской слоговой азбукой или латиницей — ЭВМ автоматически выберет соответст-

вующие знаки и распечатать текст в виде привычной японскому глазу смеси из иероглифов, хираганы и катаканы. Впрочем, как отмечает в своей статье «Японский язык в эру словопроцессоров» М. Номура, за эти блестящие возможности нужно платить немалую лингвистическую цену. Трудности применения словопроцессоров связаны прежде всего с обильной омофонией в японском языке: множество слов, пишущихся разными иероглифами, на слух, а значит, и при записи азбуккой, выглядят совершенно одинаково, и ЭВМ не может их различить. Сам Номура приводит характерный пример того, как эта особенность языка затрудняет работу со словопроцессором. Стандартная вежливая концовка письма *торисоги ё : ё : нони* (букв, «[написано] в спешке, [позтому ограничиваюсь] только самым главным») в интерпретации компьютера записывалась знаками, означающими «быстро пью, чтобы напиться».

Конечно, проблемы не только в том, чтобы различать омофоны (в словопроцессорах последних моделей машина выдает несколько вариантов написания отдельных слов, если они есть). Применение словопроцессоров ограничивается и такими особенностями, японской орфографии, как отсутствие стандартного написания слов: в зависимости от контекста, а часто и в одном контексте, слово может писаться либо иероглифами, либо каной, либо сочетанием тех и других знаков — никаких жестких правил на этот счет нет. Как это объяснить компьютеру?

И еще одна особенность современной ситуации. Многие фирмы — производители словопроцессоров закладывают в их компьютерные словари иероглифические написания слов, которые в современной языковой практике лишутся почти исключительно азбуккой; таким образом, происходит «реинимирование» части иероглифов и их чтения, притом что значительная часть читателей их может не знать. Наконец, многими исследователями, в том числе и автором статьи, высказываются опасения, что распространение словопроцессоров приведет к общему падению уровня грамотности по той простой причине, что японцы, читая иероглифы, разучатся их писать и будут полагаться в этом только на память компьютеров. Насколько обоснованы эти опасения — покажет будущее. По крайней мере, ясно, что японскому языку придется существовать во все более тесном взаимодействии с новыми информационными системами, и не учитывать этого лингвисты не могут.

Другой взгляд на перспективы развития языка в этих условиях изложен в об-

зорной статье известного экономиста М. Моритани, написанной широкими, яркими мазками. Перспективы, по его мнению, самые светлые: здесь и возможность составления с помощью компьютера любовных посланий в самых разных стилистических вариантах, здесь и компьютеризированное сочинение романов из заготовок-полуфабрикатов, созданных известными писателями, здесь и распространение машинного перевода и связанные с этим изменения строя языка...

Кикую Номото, генеральный директор научно-исследовательского института родного языка, несколько лет назад выдвинул идею о возможности обучения иностранцев началам японского языка на основе разработанной им упрощенной модели японского языка, в которой словарный запас и грамматические правила сведены к минимуму. Эти идеи были встречены резкой критикой не столько из-за утопичности программы как таковой, сколько из-за того, что при построении модели Номото не только упростил язык, но и исказил его (так, в упрощенном варианте языка «для единообразия» предлагалось использовать не существующую в реальном языке отрицательную форму связки *дээн* вместо *дэ ва аримасэн* «не быть»). В данной статье Номото, учтя критику, предлагает обновленный вариант своей модели, содержащей около 2000 слов и около 1000 иероглифов,— для тех, кто намерен пойти в изучении дальше разговорного языка. Впрочем, на основании одной статьи трудно судить, насколько приемлем новый вариант «упрощенного японского».

Из остальных материалов рецензируемого номера журнала привлекает внимание стенограмма круглого стола «Глобализация японского языка». Модное слово «глобализация» в данном случае использовано совершенно уместно. В последнее время наблюдается подлинный взрыв интереса к японскому языку: в разных формах японский изучает сейчас более двух миллионов человек. Естественно, японские лингвисты не могут стоять в стороне от этого процесса. Нельзя не согласиться с мнением Т. Уэмэса: «Японская цивилизация не является уникальным образованием, доступным только для японцев, она содержит универсальные элементы, которые могут разделить с ней народы других стран мира» (с. 62). Японский язык — один из неотъемлемых компонентов этой цивилизации. Рост интереса в мире к японскому языку, по мысли участников дискуссии, объясняется не только успехами страны в экономике, но и общим сдвигом мирового сообщества от европоцентристской точки зрения на мир к более универсальным воззрениям, обращением к культурным основам одной из

интереснейших дальневосточных цивилизаций.

Для японцев этот интерес будет иметь и оборотную сторону: с выходом языка на международную арену они потеряют своего рода право собственности на язык, и его развитие будет уже не в полной степени определяться языковыми процессами, протекающими в стране-прародине языка. В «глобализованном» языке, вероятнее всего, произойдут лексические и грамматические изменения, неприемлемые для ревнителей лингвистических традиций.

Ограниченный объем заметок не позволяет детально рассмотреть все статьи сборника, однако общий вывод сомнений не вызывает: цель, поставленная состави-

телями, достигнута. Читатели получают ясные представления о самых разных аспектах жизни японского языка. Конечно, было бы наивным ожидать от популярного журнала научной строгости и взвешенности оценок, притом что подавляющая часть материалов посвящена не традиционным проблемам грамматики, фонологии и семантики, а социолингвистическим аспектам языка, где вряд ли могут быть выработаны строгие критерии истинности. Под этим углом зрения и нужно рассматривать журнал, который, думается, будет интересен как профессионалам, так и всем равнодушным к Японии.

*Кручина Е. Н.*